**Француз о французах: взгляд Шатобриана на ментальность своей нации**

Г.А. Мухина, Омский государственный университет, кафедра всеобщей истории

Модное сегодня понятие ментальности не является новым, если говорить о его смысле. В век Просвещения во Франции много писали и говорили о "нравах", особенно Шарль-Луи де Монтескье (1689-1755), которого считали создателем "физики нравов", ибо он, как Исаак Ньютон, шел от фактов к поиску закономерностей, только в другой области знания - гуманитарной, и который в отличие от Вольтера и энциклопедистов изменил эпистемологическое поле, обратившись к глубокой разработке ментальных структур [1,p.54,57,67]. Он ввел в научный оборот новый термин "общий дух" ( esprit generale) и применил категорию "целого" к понятию "народ", "нация", чтобы соединить в нем разные факторы жизни конкретного общества. В социологических воззрениях автора "общий дух" приобрел системообразующее значение, так как вбирал в себя многообразные отношения: природные, демографические, экономические, социокультурные, а более всего - политические. Этот плюрализм связей воплощался в детерминизм видения Монтескье, и "общий дух" являлся светским понятием: иррациональное плохо уживалось в концепции мыслителя [2,р.251-252], Хотя "дух" был созвучен ньютоновской "силе", за которым скрывалось нечто нематериальное, неуловимое.

Романтики, прошедшие эту школу и Революцию, усомнились во всемогуществе человеческого разума, возвратили значительность религии и углубили исследование нравов. Становление Франсуа-Рене де Шатобриана (1768-1848) как мыслителя осуществлялось в том же русле. В его творчестве заметное место отводилось историческому субъекту. Уже первое его историческое сочинение было обращено к безымянным персонажам революций - людям, с их страстями, убеждениями, ориентирами, поступками и т.д., то есть к тому, что именуется теперь менталитетом.

Сравнивая революцию 1789 г. с переломными эпохами античности, он пытался найти главные различия в нравах обществ, разделенных тысячелетней историей. В итоге получалось, что древние отстаивали моральные приоритеты, а новые - политические: первые хотели, чтобы "правление вытекало из нравов", а другие - чтобы "нравы определялись правлением" (так Монтескье и Руссо ставили в зависимость изменение человека от изменения законодательства).

Различия укладывались у него в две формулы: "Будьте добродетельны и будете свободными" (у греков); "Станьте добродетельны и будете свободными" (у французов), тем самым констатировалось, что в новое время неоправданно ослаблялся приоритет нравов, отступавших перед приматом юридических принципов. Поэтому античный вариант казался ему истинным. Отсюда - уверенность в абсурдности просветительского тезиса и его утверждение: "Мы поворачиваемся к совершенному правлению, но мы порочны.., злы" [3,т.1,р.169,172;т.2,р.75]. В этом он был готов согласиться с "неистовыми" якобинцами, даже называл их гениальными за прозрение, что моральное состояние нации не соответствует демократическим преобразованиям. Он писал о неустанных (и безуспешных!) их стараниях переломить ситуацию: "Якобинцы хотели осуществить всеобщее потрясение в нравах французской нации, убивая собственников, покушаясь на имущество, изменяя привычки, обычаи, даже Бога, подражая Ликургу" [3, т.1, р.81-82]. Действительно, теперь признают значительную роль якобинцев в формировании революционной культуры, которая стала частью французского менталитета [7, р.299].

Шатобриан уловил особое воздействие войны на нацию: "шли в армию опьяненные вином, песнями и молодостью, хлебом и свободой. Гильотина перед глазами. Сразу - к границам, чтобы защитить свою жизнь..." Победы ковались "в огне республиканского энтузиазма", благодаря "невероятной энергии" и даже преступлению ("ножи гильотины падали день и ночь"), тогда жизнь людей ничего не стоила. "Атаковали город раз двадцать - и брали". Только якобинцы, по его мнению, и смогли "спасти Францию от нашествия лучших войск Европы" и тем подтвердили патриотический смысл своей политики. Однако победы обернулись и другой стороной: энтузиазм свободы превратился в амбиции захватов и жажду добычи [3,т.1,р.91-97;т.2,р.45].

Откуда столь небывалый энтузиазм? Автор находил его в самом существе революции, которая породила "удвоение жизни", поскольку "став свободными, страсти и характеры проявляются с такой энергией, которой нет в устроенном обществе". Но главное - в политику вступил народ: взятие Бастилии стало "актом его эмансипации" и открыло "эру кровавую, ликующую". Разрушаемая крепость превратилась в место встречи, куда приходила старая Франция, чтобы проститься, а новая - чтобы начать [4,т.1,р.231,217].

Шатобриану не нравилась новая Франция: она попирала законы, долг, порывала с обычаями и приличиями; противостояние людей приводило к утрате морального чувства, постоянства принципов и к утверждению культа силы [4,т.1,р.231;5,т3,р.665]. Он понимал, что революция несла в себе два потока: к просвещению и к разложению нравов; но более его задевала негативная тенденция. Вставал вопрос: "кто виноват?" И он предъявлял счет энциклопедистам: они опрокинули католический культ, посеяли сомнение и атеизм, внесли в общество нетерпимость и яростность (признавая их большое влияние на общественное мнение и нравы французов).

Питая в молодости симпатии к Руссо, Шатобриан поражался его прозорливости: он предсказывал революцию и одновременно ее преступления (правда, не смог предусмотреть одного, что его собственные сочинения станут оплотом для осуществления беззакония). Если ранний Шатобриан подчеркивал, что его "Эмиль" "совершил целую революцию в современной Европе", потому что, "кто изменяет воспитание, изменяет людей", то в зрелости он не церемонился с Руссо-софистом, автором "Исповеди", которая представлялась ему смесью шарма и вульгарного, циничного, низкого тона и плохого вкуса [3,т.2,р.248,249,264,269;4,т.3,р.584]. Ответственность за порчу народных нравов он возлагал также на носителей власти старой Франции: монарха, куртизан, министров (рыба гниет с головы!). Но философы казались страшнее, особенно их намерение, что надо "освободить народ, задушив последнего короля кишкой последнего священника" (здесь он цитировал известное изречение главного "поджигателя" в ХУIII в. Жана Мелье). Его возмущали намерения новых писателей "заменить чтение Евангелия чтением непристойного романа" [3,т.2,р.330,274,276].

Революция во Франции с ее стремительными метаморфозами привела его к выводу: "Нравы - вот точка, ключ, что открывает секретную книгу Судьбы" [3,т.2,р.402]. Это было важное признание: в нем выразился разрыв с Просвещением, так как не только люди творили историю, но история тоже творила людей. В молодости ему казалось, что пружина разрушений коренилась в разложении нации, гнев которой распаляли люди, потерявшие веру. А к старости убедился, что сами революции обладают долговременным влиянием на нацию и потребуются века для ее "очищения" [3,т.2,р.282,328,325]. Такое он наблюдал в 183О г., когда обнаружил связь очередного потрясения с 1789 годом: "Революция казалась угасшей в славе Бонапарта и свободах Людовика ХУIII, но росток ее не погиб; он развился, укоренившись в глубине наших нравов, пока ошибки Реставрации не отогрели его вновь" [4,т.3.р.252]. Или он открывал еще более длительный масштаб революционного эффекта, когда медленно накапливалась его разрушительная сила.

Шатобриан не ошибся, предсказывая движение революций по возрастающей (для Х1Х в.) и прозревая массовые порывы порочных страстей. Прочитав немало памфлетов эпохи Кромвеля, он был ошеломлен тем, что большинство их являлось политическими проповедями - "абсурдными", нелепыми, полными беснований, с постоянными повторами: "слушайте", "кричите". Его поразило, что революция Кромвеля, "почти не имевшая влияния на его век", с такой силой была "скопирована" французами, что возникало предположение: французская революция, возможно, "опрокинет будущую Европу". Ведь цареубийцы Карла I были в основном фанатиками, однако сознательно казнили своего суверена, а якобинцы через полтора века "имитировали" казнь английского короля. Он отмечал безнравственность революционной власти, которая достигала апогея с установлением деспотизма, что потворствовало амбициозным страстям во всех слоях общества: солдат мечтал стать маршалом, чиновник - министром...[3,т.2,р.213,184,186,205,139,91;5,т.24,р.110].

Республиканская атмосфера казалась ему самой опасной: народный суверенитет провоцировал общественный хаос, настоящую вакханалию ("вечную революцию"), потому что народ - это дитя, и Францию будет бросать из-за его непостоянства от республики к монархии [3,т.2.р.79,94,95]. А тут еще советы Дантона: обогащайтесь - и будете делать все, что захотите. Душа аристократа не принимала буржуазно-эгоистических ценностей, ее влекло к другим спасительным опорам: к монархическому и религиозному чувству [4,т.1,р.352;5,т.3,р.239,т.2.р.79,80]. Шатобриан особо дорожил дворянскими достоинствами и считал, что можно оздоровить ими новое общество: традициями чести, бескорыстия, самоуважения. Тем более, что его беспокоила изоляция французского дворянства от общества, в которой оно оказалось ( в отличие от английского), хотя именно оно выступило инициатором сопротивления абсолютизму: "Революции всегда начинаются благородными - против единоличной власти" [6,р.269;5,р.354-355].

Как дворянин он сознавал ответственность сословия за судьбы нации, его ужасало, какие низменные наклонности обнажила революция в человеке: страсть к насилию, эшафотам, самосудам, предательству. Она не обошла даже "самого значительного гения" Мирабо и превратила его сердце в "самое развращенное", она создала "расу Брута на службе Цезаря и его полиции". "Уравнители, духовные перерожденцы, убийцы превратились в слуг, шпионов, сикофантов и совсем противоестественно - в герцогов, графов и баронов",- возмущался писатель. Этим он обращал внимание на устойчивость социальных моделей и неистребимость иерархических пристрастий у новых "эгалитаристов" [4,т.2,р.462;т.1,р.216,192;т.3,р.255;3,т.2,р.214], то есть на невозможность новаторов оторваться от традиционных приоритетов, которые приспосабливались к частным интересам, тем самым признавая континуитет истории.

Такое наблюдение не мешало ему видеть разрыв между усилиями революционеров и состоянием общественных нравов: Франция была в основном роялистской, она не хотела ни смерти Людовика ХVI, ни Конвента, ни Директории, ни Бонапарта - она была "ведома меньшинством, активным и вооруженным" [6,р.150]. Революция убедила его в том, что "всякое мнение умирает бессильным, пока не обоснуется в собрании, которое дает ему власть, волю, язык и руки". Но здесь не обходится без стихийной силы и народных страстей. Во взятии Бастилии он обнаружил сплетение двух начал (рационального и иррационального): "дикий гнев сокрушал, а под ним прятался разум, который закладывал среди этих развалин фундамент нового здания". Его поразило, как нация не ошиблась в силе морального величия 14 июля: "Разрушая крепость Государства, народ полагал, что разбивает военное ярмо" - и сам становился солдатом [4,т.1,р.194, 217].

Республика, по его мнению, существенно изменила национальный характер, французы стали патриотами и воинами: "любовь, верность, уважение у республиканца должны проявляться прежде всего к родине". Потому "Марсельезу" он называл республиканской одой, "эпохой" в революции, которая не раз вела французов к победе; она была воплощением "лирики и энтузиазма". Изучая ментальность, он высоко ценил литературные источники; ибо понимал, сколь хорошо нравы народов отражаются в любовных сонетах, философских трудах и даже в "убогих строках" эпитафии "монстра" Марата, которыми тоже нельзя пренебрегать, так как "надо знать дух времени" [3,т.1,р.99,150,132,155]. Нравы, в глазах Шатобриана, не являлись чем-то единым, обязательно национальным. Свидельство тому - Вандея, христианская, католическая, в которой "обитал монархический дух": с первых дней революции вандейцы показали свое отвращение к ее принципам и страдали за короля. Когда в эмиграции ему повстречался тридцатилетний крестьянин из Вандеи, он испытал восхищение к "представителю прежних Жаков" и запечатлел в памяти его облик с характерным природным деревенским выражением: жгучий взгляд, дрожащая губа над сжатыми зубами, змеями вьющиеся волосы и огромные кулаки - "весь во власти нравов", он излучал "наивную верность вассала", у которого простая христианская вера сочеталась с грубой независимостью, с привычкой поступать по-справедливости. "Он говорил как лев, чесался как лев, зевал как лев, поворачивался как лев и тосковал о крови и лесах". На фоне вандейских "гигантов" ему приходила мысль об измельчании французской "расы" [5,т.3,р.312,313;4,т.1,р.453,454].

Монархический дух, хотя и подорванный революцией, все-таки не успел истлеть за те двадцать лет, что страна жила без Бурбонов. Об этом писал Шатобриан, взывая к "магии имени короля" как легитимного суверена: когда в 1814 г. Людовик ХУIII прибыл из изгнания без состояния, без охраны, больной, которого поддерживали, высаживая из экипажа, и когда он "предстал перед гренадерами, которые его никогда в глаза не видели и едва знали его имя, - все пали к его ногам". Тому немало способствовало и поведение королей, которые дали пример "умереть как Бурбоны" [5,т.3,р.129,296].

Сам никогда не сомневавшийся в целесообразности наследственной монархии для Франции и никогда ей не изменивший Шатобриан считал легитимизм принципом подлинного единства нации в противовес революционному республиканскому патриотизму, полагая, что демократическое правление приведет к унификации общества, и заключал: "Безумие иногда толкает народы к единству и заставляет отдельного человека почувствовать целостность рода, но не окажется ли тогда под угрозой все разнообразие личных чувств?" Ущербность республиканского духа ощущалась им через связь древних демократий с рабством ("отцы-варвары были свободны благодаря рабам"), и он не мог представить, "на каких принципах могла быть установлена истинная демократия без рабов" [4,т.3,р.719;3,т.2,р.53]. Он совсем не думал, что свободный индивид может быть продуктом республики, основанной на равенстве. Напротив, его более привлекала Реставрация, с ее конституционностью, "духом человечности, законности и справедливости", чего не создали "двадцать пять лет революционного духа и войн", когда "в наши нравы вошло право силы", готовое стать общим правом. К концу жизни мыслитель уже не настаивал ни на примате политико-правового фактора, ни на приоритете национальных нравов, скорее признавал их взаимодействие, но не только, "все эти вещи - случаи, а не причины событий, которые связаны с порядком Провидения" [4,т.3,р.251].

Это не мешало ему размышлять над особенностями французской нации, которую он принимал как единичность. Французы поражали своим непостоянством. Он не мог, к примеру, понять их изменчивого отношения к Наполеону: почему они то обожали, то забывали его (когда тот был отправлен в изгнание) и вновь падали к его ногам со всем энтузиазмом (во время торжественного возвращения его праха в Париж). Да, Франция умела творить себе кумира: "Эта легкомысленная нация, которая никогда не любила свободу, как по прихоти, но которая постоянно сходила с ума от равенства, эта многоликая нация была фанатичной при Генрихе IV, мятежной при Людовике ХIII, суровой при Республике, революционной при Людовике XVI, воинственной при Бонапарте, конституционной при Реставрации: сегодня она продает свои свободы, так сказать, республиканской монархии, вечно меняя свою природу согласно духу своих вождей". Ее непостоянство возрастало по мере того, как она стала порывать с семейными обычаями и религиозными узами [4,т.3,р.544-545]. Нетерпеливость французов в политических действиях доводила до парадоксов: "в наших революциях мы никогда не считались с духом времени, вот почему нас всегда ошеломляли результаты, противоположные нашим намерениям" [4,т.3,р.730].

Уязвимые свойства своей нации он выявлял через сравнение с заслугами англичан, будучи почитателем их традиций: не находил у них такого раскола в обществе, потому что британская аристократия была цементирующим фактором и (в отличие от французов) смогла укрепить свое влияние в государстве, правда, когда речь шла о патриархальном, доиндустриальном времени. Все это однако не могло поколебать его расположения к своей нации: французы были отважны, храбры, верны в дружбе, близки к грекам своей любезностью, веселостью, тонкостью вкуса, остроумием, любовью к изящным искусствам и удовольствиям "среди вин, женщин и цветов" [3,т.1,р.114,106-107]. В столь патетическом признании достоинств своих соотечественников можно явственно различить чуть ли не весь набор склонностей благородного сословия, к которому принадлежал автор.

Вслед за Паскалем он пришел к убеждению, что в истории порок и добродетель составляют определенную сумму, которая не увеличивается и не уменьшается [8,т.1,р.150]. Как настоящий романтик, который держал нить времени в своих руках, ощущая его движение от прошлого к будущему через настоящее, Шатобриан воспринимал французский менталитет как феномен развивающийся, противоречивый, подчас неуловимый или не поддающийся определению. Сетуя, порою стеная по поводу потерь, которые вызывались разложением нравов в дорогой для него стране, он отмечал новые приобретения: национальный патриотизм, энтузиазм, мужество и готовность служить человеческому освобождению. Несмотря на сомнения , которые порождало современное ему развитие общества, недоверие к прогрессу, он уповал на эстетические и нравственные ценности христианства, католичества, священную власть и саму личность человека, деятельную, глубокочувствительную, разумную. Это питало его оптимизм, жизнелюбие, гуманизм - качества, столь характерные для французов.